



**С. М. СОЛОВЬЕВ**

**Владимир Соловьев: жизнь  
и творческая эволюция**

<ОТРЫВОК>

**ВВЕДЕНИЕ**

Скоро исполнится двадцать пять лет со дня смерти Владимира Сергеевича Соловьева, и чувствуется настоятельная потребность в полном его жизнеописании. Уже неоднократно было замечено, что история жизни Соловьева представляет не меньший интерес, чем его творения. Мережковский прав, говоря, что, в противоположность Толстому, который раскрывал себя в своих писаниях, Соловьев постоянно тщательно закрывает себя от публики. Тут возникает вопрос: хорошее ли дело приоткрывать завесу, которую писатель набросил на свою интимную жизнь, вправе ли мы восстанавливать его внутренний облик на основании материалов, никогда не предназначавшихся автором к печати? Но таков удел большого человека: его интимная жизнь рано или поздно делается всеобщим достоянием. Я приступаю к моему труду с надеждой, что подробная биография Соловьева прольет свет на многие не освещенные до сих пор стороны его мирозерцания и деятельности. Жизнь Соловьева текла бурно. За свою недолгую жизнь он пережил не один, а несколько кризисов мировоззрения. И тем не менее, когда мы проследим ход его развития шаг за шагом и вскроем его противоречия, в результате мы получим одно цельное мирозерцание, увидим, что в 90-х годах он дословно повторяет то, что утверждал в 70-х. Идеал органического синтеза, положительного всеединства — основная идея Соловьева. Он никогда не мог пристать ни к одному из «двух враждебных станом», ни к светской культуре, ни к церковному аскетизму, ни к западникам, ни к славянофилам, ни к представителям свободной мистики, ни к носителям церковного авторитета. Между тем стремление

к действию, к влиянию на общество, к проведению своих идеалов в жизнь побуждало его заключать временные сделки с тем или другим лагерем и даже, как он сам выражался, «вести дипломатию».

Естественно, что по смерти Соловьева начался ожесточенный спор за его наследие и, как говорит поэт Андрей Белый, «разнообразные, бессмысленные касты причли его к своим». Те касты, которые при жизни философа в один голос кричали ему: «Ты — не наш!», теперь с не меньшим ожесточением закричали: «Он — наш и только наш!» И еще раз оправдались слова Христа о народе, который камнями побивает своих пророков, а потом воздвигает им гробницы.

Жизнь Соловьева прежде всего разбивается на три периода. Первый — чисто умозрительный и славянофильский — борьба с материализмом и позитивизмом; второй — церковно-публицистический — борьба с национализмом; третий, синтетический период — возвращение к философии, занятия поэзией и критикой — борьба с Ницше и Толстым. Этот период открывается «Оправданием добра» и заканчивается «Тремя разговорами» и поэмой «Три свидания».

Это деление жизни на три периода находит аналогию у основателя западного богословия бл. Августина, столь родственного Соловьеву в основных идеях, как уже указывал Э. Л. Радлов. У Августина первый период — чисто умозрительный: пользуясь оружием платонизма, он полемизирует с мистическим натурализмом манихеев; второй период — обоснование догмата о Церкви — борьба с донатистами; третий период — нравственно-мистический — учение о благодати и борьба с Пелагием. Соловьев особенно любил трехчленные деления, и мы будем верны его духу, разбив наш труд на три части, согласно трем периодам его развития. Первый период завершается в начале 80-х годов, третий намечается в начале 90-х.

В той части русского общества, которое интересуется вопросами философии и религии, за последнее время заметно охлаждение к Соловьеву. Отрицательное отношение к Соловьеву Розанова и Мережковского, с одной стороны, специалистов по философии — с другой, не может не оказывать своего влияния. Интересуются личностью Владимира Соловьева, его чудачествами, его шутками, его оккультными занятиями, но его капитальные труды, как «Критика отвлеченных начал», «История и будущность теократии» и «Оправдание добра», одними более почитаются, чем читаются, со стороны других встречают пренебрежительное отношение, как тяжеловесные построения

отжившей схоластики. Часто приходится слышать пренебрежительные отзывы о Соловьеве от представителей так называемого неоправославия, тесно связанного со старым славянофильством. Мы всегда держались того мнения, что нам неинтересны романтические и оккультные эпизоды жизни Соловьева, решающим является его собственный взгляд на его призвание и дело. Нельзя, подобно Мережковскому, утверждать, что настоящий, «интересный» для нас Соловьев был только немым пророком<sup>1</sup>, а фундаментальные труды его жизни — только маска, обращенная к людям. Соловьев по природе был прежде всего философом, и его «змеиная» диалектика также коренится во «святом святых» его души, как и его «голубиная» поэзия. Построение всеобъемлющей, синтетической системы знания навсегда осталось его основным устремлением. Нельзя также понять и оценить Соловьева, закрывая глаза на его упорную публицистическую деятельность. «Выметать сор» русской общественной жизни он считал своей религиозной обязанностью, своего рода «послушанием», и прелесть нежной красавицы Саймы не заглушила в его душе молитву Богу правды:

Чтобы насилия прилив  
О камни финские разбился.

Соловьев стремился не выявлять свою личность, а «пахать» и строить на камне. Считая любовь зиждительным и организующим началом жизни, он искал осуществления этой любви через философский синтез и общественную справедливость. Синтез духовного и материального, Востока и Запада, России и Европы, православия и католицизма — вот что всего характернее для Соловьева.

Соловьеву в его средние года пришлось резко разойтись с русским правительством и обществом. Два его основных труда «История и будущность теократии» и «Россия и Вселенская Церковь» могли появиться только за границей: первый был напечатан в Загребе, второй — в Париже. Став при жизни писателем не только русским, но и европейским, Соловьев остался таким и теперь. Популярность его в Германии и Франции возрастает. Думаю, что опубликование полной биографии Соловьева является своевременным, тем более что некоторые записи интимного характера, долго тайные мною под спудом, по независящим от меня обстоятельствам вышли в свет и могут вызвать кое-какие толки, оскорбительные для памяти покойного философа. Моя задача — дать этому материалу правдивое освещение. Хотя голос крови может являться помехой для объек-

тивной биографии, но мне слишком памятен завет Владимира Соловьева «храните себя от идолов». А главное, во мне живет уверенность, что, изобразив моего дядю таким, каков он был, без всякой ложной идеализации, я только подниму его авторитет и обаяние.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После смерти Соловьева его идеи начинают завоевывать умы и на его родине, и в Европе. Теперь общим местом стало признание Соловьева великим русским гением, имя его становится рядом с именами Пушкина и Достоевского, Карлейля<sup>2</sup> и Ньюмана<sup>3</sup>. Но в чем же его главное значение? Конечно, Соловьев был крупным русским философом, а при убогости русской философии едва ли можно спорить, что в России он не имеет себе равных. Л. М. Лопатин верно указал, что Соловьев для русской философии был тем же, чем Пушкин для поэзии. Соловьев был и самым крупным богословом в России и имел для своей родины то же значение, какое Ньюман для Англии. Был он выдающимся поэтом, критиком и публицистом. Но что отличает его от всех, это сознанные им за собой от начала и до конца жизни право и долг быть «пророком во Израиле», быть совестью русского общества и обличителем его грехов. Здесь его можно сравнить с Толстым и Карлейлем. Но пути Соловьева были иные, чем пути этих двух великих людей России и Англии. Дух библейского пророчества роднит Соловьева с Толстым, но у последнего этот дух постепенно уступает поверхностному рационализму и буддийской пассивности. Если Карлейль остался до конца жизни потомком шотландских пуритан, с их глубокой религиозностью и прямоотой и с узостью умственного кругозора, то Соловьев с библейским пафосом Карлейля соединил тонкий ум и широту взгляда Ньюмана. Конец его был иной, чем великого английского богослова. Кардинальский пурпур увенчал твердого и непреклонного представителя саксонской расы. Чистый славянин Соловьев кончает жизнь странником, подобно своему предку Сквороде. И если злые языки, как, например, язык брата Всеволода, говорили, что он мечтает о кардинальском пурпуре, то в действительности Соловьев не променял бы своей поношенной крылатки, «безрукавной летучей мыши», ни на какие золото и пурпур. Он создан был не для власти с сопряженным с ней ограничением свободы, а для «пророчества», вольного слушания, странничества. Как нельзя представить Со-

ловьева ректором университета, отцом семейства, так нельзя представить его и епископом. Но при характере странника Соловьев был далек от возведения своего странничества в принцип. Свобода пророческого служения не исключает, а требует рядом с собою законных и определенных форм государственных и церковных...

И я думаю, что голос любви, и духовной и кровной, не обманул меня, когда я в моем труде выдвигал те стороны жизни Соловьева, которые часто замалчиваются. Мне дорог в Соловьеве не фантаст и романтик, не автор каламбуров и донжуан великосветских салонов и не профессор философии. Мне дорог добрый человек, любивший нищих, голубей и белые колокольчики Пустыньки. Мне дорог человек, празднословный и лукавый язык которого был вырван серафимом и заменен мудрым жалом змеи. Это жало ядом своей диалектики болезненно уязвляло противников истины, тех, кто не видел пылающего угля любви, вдвинутого тем же серафимом на место плотяного и трепетного сердца. Много празднословил язык Соловьева, особенно когда на это празднословие являлся жадный спрос, но не из трепетного сердца вышли «Духовные основы жизни» и «История теократии», не лукавым языком сказаны эти слова. Если в 80-х годах Соловьев подымался на вершину Синая, если в 1892 г. он чувствовал себя лежащим на дне долины и коснеющим в пустынном Мидиане, то, приближаясь к концу, он восходит уже на иную гору. Не на «мрачную и дымную» гору Синая, а исполненную света гору Фавора. «Осилившие его на миг искушения» ломали его философскую гордыню, очищали его ум от опасных иллюзий, арлекином которых явился «Третий Завет» А. Шмидт, «Прекрасная дама» Блока и т. д.

Если мы сравним уверенное, планомерное восхождение Соловьева вверх в 80-х годах с растерянностью, неопределенностью его замыслов и жизни в 90-х годах, то мы почувствуем глубокую, пережитую им трагедию. Но эта трагедия не была бесповоротной, как трагедия Гамлета. Если в «Теократии» нас пленяет чистое золото сияющей и неподвижной истины, то в писаниях 90-х годов мы иногда принуждены выискивать ценные жемчужины из груды мусора. Для тех, кому дороги жемчужины, а не мусор, я писал эту книгу, с надеждой, что они отнесутся снисходительно к недостаткам моей работы. *Feci quod potui, Faciant meliora potentes*<sup>4</sup>.

